

XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе

Задания заключительного этапа

9 класс

1 тур

Комплексный анализ прозаического произведения

В.Ф. Одоевский

Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту

— Как, сударыня! вы уже хотите оставить нас?

С позволения вашего попровожу вас.

— Нет, не хочу, чтоб такой учтивый господин потрудился для меня.

— Извольте шутить, сударыня.

Manuel pour la conversation par madame de Jenlis, p. 375¹, Русское отделение

Однажды в Петербурге было солнце; по Невскому проспекту шла целая толпа девушек; их было одиннадцать, ни больше ни меньше, и одна другой лучше; да три маменьки, про которых, к несчастью, нельзя было сказать того же. Хорошенькие головки вертелись, ножки топали о гладкий гранит, но им всем было очень скучно: они уж друг друга пересмотрели, давно друг с другом обо всем переговорили, давно друг друга пересмеяли и смертельно друг другу надоели; но всё-таки держались рука за руку и, не отставая друг от дружки, шли монастырь монастырём; таков уже у нас обычай: девушка умрёт от скуки, а не даст своей руки мужчине, если он не имеет счастья быть ей братом, дядюшкой или ещё более завидного счастья — восьмидесяти лет от роду; ибо «что скажут маменьки?». Уж эти мне маменьки! когда-нибудь доберусь я до них! я выведу на свежую воду их старинные проказы! я разберу их устав благочиния, я докажу им, что он не природой написан, не умом скреплён! Мешаются не в своё дело, а наши девушки скучают-скучают, вянут-вянут, пока не сделаются сами похожи на маменек, а маменькам то и по сердцу! Погодите! я вас!

Как бы то ни было, а наша толпа летела по проспекту и часто набегала на прохожих, которые останавливались, чтобы посмотреть на красавиц; но

¹ Руководство для разговора, составленное мадам Жанлис, стр. 375 (франц.) (Примечание В.Ф. Одоевского).

подходить к ним никто не подходил — да и как подойти? Спереди маменька, сзади маменька, в середине маменька — страшно!

Вот на Невском проспекте новоприезжий искусник выставил блестящую вывеску: сквозь окошки светятся парообразные дымки, сыплются радужные цветы, золотистый атлас льётся водопадом по бархату, и хорошенькие куколки, в пух разряженные, под хрустальными колпаками кивают головками. Вдруг наша первая пара остановилась, повернулась и прыг на чугунные ступеньки; за ней другая, потом третья, и, наконец, вся лавка наполнилась красавицами. Долго они разбирали, любовались — да и было чем: хозяин такой быстрый, с синими очками, в модном фраке, с большими бакенбардами, затянут, перетянут, чуть не ломается; он и говорит и продаёт, хвалит и бранит, и деньги берёт и отмеривает; беспрестанно он расстилает и расставляет перед моими красавицами: то газ из паутины с насыпью бабочкиных крылышек; то часы, которые укладывались на булавочной головке; то лорнет из мушиных глаз, в который в одно мгновение можно было видеть всё, что кругом делается; то блонду, которая таяла от прикосновения; то башмаки, сделанные из стрекозиной лапки; то перья, сплетённые из пчелиной шёрстки; то, увы! румяна, которые от духу налетали на щечку. Наши красавицы целый бы век остались в этой лавке, если бы не маменьки! Маменьки догадались, махнули чепчиками, повертели налево кругом и, вышедши на ступеньки, благоразумно принялись считать, чтобы увериться, все ли красавицы выйдут из лавки; но по несчастью (говорят, ворона умеет считать только до четырёх), наши маменьки умели считать только до десяти: не мудрено же, что они обочлись и отправились домой с десятью девушками, наблюдая прежний порядок и благочиние, а одиннадцатую позабыли в магазине.

Едва толпа удалилась, как заморский басурманин тотчас дверь на запор и к красавице; всё с неё долой: и шляпку, и башмаки, и чулочки, оставил только, окаянный, юбку да кофточку; схватил несчастную за косу, поставил на полку и покрыл хрустальным колпаком.

Сам же за перочинный ножичек, шляпку в руки и с чрезвычайным проворством ну с неё срезывать пыль, налетевшую с мостовой; резал, резал, и у него в руках очутились две шляпки, из которых одна чуть было не взлетела на воздух, когда он надел её на столбик; потом он так же осторожно срезал тиснёные цветы на материи, из которой была сделана шляпка, и у него сделалась ещё шляпка; потом ещё раз — и вышла четвертая шляпка, на которой был только оттиск от цветов; потом ещё — и вышла пятая шляпка

простенькая; потом ещё, ещё — и всего набралось у него двенадцать шляпок; то же, окаянный, сделал и с платицем, и с шалью, и с башмачками, и с чулочками, и вышло у него каждой вещи по дюжине, которые он бережно уклал в картон с иностранными клеймами... и всё это, уверяю вас, он сделал в несколько минут.

— Не плачь, красавица, — приговаривал он изломанным русским языком, — не плачь! тебе же годится на приданое!

Когда он кончил свою работу, тогда прибавил:

— Теперь и твоя очередь, красавица!

С сими словами он махнул рукою, топнул; на всех часах пробило тринадцать часов, все колокольчики зазвенели, все органа заиграли, все куклы запрыгали, и из банки с пудрой выскочила безмозглая французская голова; из банки с табаком чуткий немецкий нос с ослиными ушами; а из бутылки с содовою водою туго набитый английский живот. Все эти почтенные господа уселись в кружок и выпучили глаза на волшебника.

— Горе! — вскричал чародей.

— Да, горе! — отвечала безмозглая французская голова, — пудра вышла из моды!

— Не в том дело, — проворчал английский живот, — меня, словно пустой мешок, за порог выкидывают!

— Ещё хуже, — просопел немецкий нос, — на меня верхом садятся, да ещё пришпоривают.

— Всё не то! — возразил чародей, — всё не то! ещё хуже; русские девушки не хотят больше быть заморскими куклами! вот настоящее горе! продолжись оно — и русские подумают, что они в самом деле такие же люди.

— Горе! горе! — закричали в один голос все басурмане.

— Надобно для них выдумать новую шляпку, — говорила голова.

— Внушить им правила нашей нравственности, — толковал живот.

— Выдать их замуж за нашего брата, — твердил чуткий нос.

— Всё это хорошо! — отвечал чародей, — да мало! Теперь уже не то, что было! На новое горе новое лекарство; надобно подняться на хитрости!

Думал, долго думал чародей, наконец махнул ещё рукою, и пред собранием явился треножник, мариина баня и реторта, и злодеи принялись за работу.

В реторту втиснули они множество романов мадам Жанлис, Честерфильдовы письма, несколько заплесневелых сенсаций, канву,

итальянские рулады, дюжину новых контрдансов, несколько выкладок из английской нравственной арифметики и выгнали из всего этого какую-то бесцветную и бездушную жидкость. Потом чародей отворил окошко, повёл рукою по воздуху Невского проспекта и захватил полную горсть городских сплетней, слухов и рассказов; наконец из ящика вытащил огромный пук бумаг и с дикою радостью показал его своим товарищам; то были обрезки от дипломатических писем и отрывки из письмовника, в коих содержались уверения в глубочайшем почтении и истинной преданности; всё это злодей, прыгая и хохоча, ну мешать с своим бесовским составом; французская голова раздувала огонь, немецкий нос размешивал, а английский живот, словно пест, утаптывал.

Когда жидкость простыла, чародей к красавице: вынул бедную, трепещущую, из-под стеклянного колпака и принялся из неё, злодей, вырезывать сердце! О! как страдала, как билась бедная красавица! как крепко держалась она за своё невинное, своё горячее сердце! с каким славянским мужеством противилась она басурманам. Уже они были в отчаянии, готовы отказаться от своего предприятия, но, на беду, чародей догадался, схватил какой-то маменькин чепчик, бросил на уголья — чепчик закурился, и от этого курева красавица одурела.

Злодеи воспользовались этим мгновением, вынули из неё сердце и опустили его в свой бесовский состав. Долго, долго они распаривали бедное сердце русской красавицы, вытягивали, выдували, и когда они вклеили его в своё место, то красавица позволила им делать с собою всё, что было им угодно. Окаянный басурман схватил её пухленькие щёчки, маленькие ножки, ручки и ну перочинным ножом соскребать с них свежий славянский румянец и тщательно собирать его в баночку с надписью *rouge vegetal*²; и красавица сделалась беленькая-беленькая, как кобчик; насмешливый злодей не удовольствовался этим: маленькой губкой он стёр с неё белизну и выжал в скляночку с надписью: *lait de concombre*³, и красавица сделалась жёлтая, коричневая; потом к наливной шейке он приставил пневматическую машину, повернул — и шейка опустилась и повисла на косточках; потом маленькими щипцами разинул ей ротик, схватил язычок и повернул его так, чтобы он не мог порядочно выговорить ни одного русского слова; наконец затянул её в узкий корсет, накинул на неё какую-то уродливую дымку и выставил красавицу на мороз к окошку. Засим басурмане успокоились; безмозглая

² растительные румяна (*франц.*).

³ огуречный сок (*франц.*).

французская голова с хохотом прыгнула в банку с пудрою; немецкий нос зачихал от удовольствия и убрался в бочку с табаком; английский живот молчал, но только хлопал по полу от радости и также уплёлся в бутылку с содовой водою; и всё в магазине пришло в прежний порядок, и только стало в нём одною куклою больше!

Между тем время бежит да бежит; в лавку приходят покупщики, покупают паутинный газ и мушинные глазки, любуются на куколок. Вот один молодой человек посмотрел на нашу красавицу, задумался, и, как ни смеялись над ним товарищи, купил её и принёс к себе в дом. Он был человек одинокий, нрава тихого, не любил ни шума, ни крика; он поставил куклу на видном месте, одел её, обул её, целовал её ножки и любовался ею, как ребёнок. Но кукла скоро почуяла русский дух: ей понравились его гостеприимство и добродушие. Однажды, когда молодой человек задумался, ей показалось, что он забыл о ней, она зашевелилась, залепетала; удивлённый, он подошёл к ней, снял хрустальный колпак, посмотрел: его красавица кукла куклою. Он приписал это действию воображения и снова задумался, замечтался; кукла рассердилась: ну опять шевелиться, прыгать, кричать, стучать об колпак, ну так и рвётся из-под него.

— Неужеле ты в самом деле живёшь? — говорил ей молодой человек, — если ты в самом деле живая, я тебя буду любить больше души моей; ну, докажи, что ты живёшь, вымолви хотя словечко!

— Пожалуй! — сказала кукла, — я живу, право живу.

— Как! ты можешь и говорить? — воскликнул молодой человек, — о, какое счастье! Не обман ли это? дай мне ещё раз увериться, говори мне о чём-нибудь!

— Да об чём мы будем говорить?

— Как о чём? на свете есть добро, есть искусство!..

— Какая мне нужда до них! — отвечала кукла, — это всё очень скучно!

— Что это значит? Как скучно? Разве до тебя ещё никогда не доходило, что есть на свете мысли, чувства?..

— А, чувства! чувства? знаю, — скоро проговорила кукла, — чувства почтения и преданности, с которыми честь имею быть, милостливый государь, вам покорная ко услугам...

— Ты ошибаешься, моя красавица; ты смешиваешь условные фразы, которые каждый день переменяются, с тем, что составляет вечное неизблемое украшение человека.

— Знаешь ли, что говорят? — прервала его красавица, — одна девушка вышла замуж, но за ней волочится другой, и она хочет развестись. Как не стыдно!

— Что тебе нужды до этого, моя милая? подумай лучше о том, как многого ты на свете не знаешь; ты даже не знаешь того чувства, которое должно составлять жизнь женщины; это святое чувство, которое называют любовью; которое проникает всё существо человека; им живёт душа его, оно порождает рай и ад на земле.

— Когда на бале много танцуют, то бывает весело, когда мало, так скучно, — отвечала кукла.

— Ах, лучше бы ты не говорила! — вскричал молодой человек, — ты не понимаешь меня, моя красавица!

И тщетно он хотел её образумить: приносил ли он ей книги — книги оставались неразрезанными; говорил ли ей о музыке души — она отвечала ему итальянскою руладою; показывал ли картину славного мастера — красавица показывала ему канву.

И молодой человек решился каждое утро и вечер подходить к хрустальному колпаку и говорить кукле: «Есть на свете добро, есть любовь; читай, учись, мечтай, исчезай в музыке; не в светских фразах, но в душе чувства и мысли».

Кукла молчала.

Однажды кукла задумалась, и думала долго. Молодой человек был в восхищении, как вдруг она сказала ему:

— Ну, теперь знаю, знаю; есть на свете добродетель, есть искусство, есть любовь — не в светских фразах, но в душе чувства и мысли. Примите, милостивый государь, уверения в чувствах моей истинной добродетели и пламенной любви, с которыми честь имею быть...

— О! перестань, Бога ради, — вскричал молодой человек, — если ты не знаешь ни добродетели, ни любви, — то по крайней мере не унижай их, соединяя с поддельными, глупыми фразами...

— Как не знаю! — вскричала с гневом кукла, — на тебя никак не угодишь, неблагодарный! Нет, — я знаю, очень знаю: есть на свете добродетель, есть искусство, есть любовь, как равно и почтение, с коими честь имею быть...

Молодой человек был в отчаянии. Между тем кукла была очень рада своему новому приобретению; не проходило часа, чтоб она не кричала: «Есть добродетель, есть любовь, есть искусство», — и не примешивала к

своим словам уверений в глубочайшем почтении; идёт ли снег — кукла твердит: «*Есть добродетель!*» — принесут ли обедать — она кричит: «*Есть любовь!*» — и вскоре дошло до того, что это слово опротивело молодому человеку. Что он ни делал: говорил ли с восторгом и умилением, доказывал ли хладнокровно, бесился ли, насмеялся ли над красавицею — всё она никак не могла постигнуть, какое различие между затверженными ею словами и обыкновенными светскими фразами; никак не могла постигнуть, что любовь и добродетель годятся на что-нибудь другое, кроме письменного окончания.

И часто восклицал молодой человек: «Ах, лучше бы ты не говорила!»

Наконец он сказал ей:

— Я вижу, что мне не вразумить тебя, что ты не можешь к заветным, святым словам добра, любви и искусства присоединить другого смысла, кроме почтения и преданности... Как быть! Горько мне, но я не виню тебя в этом. Слушай же, всякий на сём свете должен что-нибудь делать; не можешь ты ни мыслить, ни чувствовать; не перелить мне своей души в тебя; так занимайся хозяйством по старинному русскому обычаю, — смотри за столом, своди счёты, будь мне во всем покорна; когда меня избавишь от механических занятий жизни, я — правда, не столько тебя буду любить, сколько любил бы тогда, когда бы души наши сливались, — но всё любить тебя буду.

— Что я за ключница? — закричала кукла, рассердилась и заплакала, — разве ты затем купил меня? Купил — так лелей, одевай, утешай. Что мне за дело до твоей души и до твоего хозяйства! Видишь, я верна тебе, я не бегу от тебя, — так будь же за то благодарен, мои ручки и ножки слабы; я хочу и люблю ничего не делать, не думать, не чувствовать, не хозяйничать, — а твоё дело забавлять меня.

И в самом деле, так было. Когда молодой человек занимался своею куклою, когда одевал, раздевал её, когда целовал её ножки — кукла была и смирна и добра, хоть и ничего не говорила; но если он забудет переменить её шляпку, если задумается, если отведет от неё глаза, кукла так начнет стучать о свой хрустальный колпак, что хоть вон беги. Наконец не стало ему терпения: возьмёт ли он книгу, сядет ли обедать, ляжет ли на диван отдохнуть, — кукла стучит и кричит, как живая, и не даёт ему покоя ни днем, ни ночью; и стала его жизнь — не жизнь, но ад. Вот молодой человек рассердился; несчастный не знал страдания, которое вынесла бедная красавица; не знал, как крепко она держалась за врождённое ей природою сердце, с какой болью отдала его своим мучителям, или учителям, — и

однажды спросонья он выкинул куклу за окошко; за то все проходящие его осуждали, однако же куклу никто не поднял.

А кто всему виною? сперва басурмане, которые портят наших красавиц, а потом маменьки, которые не умеют считать дальше десяти. Вот вам и нравоучение.

Мыслящие люди не обвинят автора в квасном патриотизме за эту шутку. Кто понимает цену западного просвещения, тому понятны и его злоупотребления. (*Прим. В.Ф.Одоевского.*)